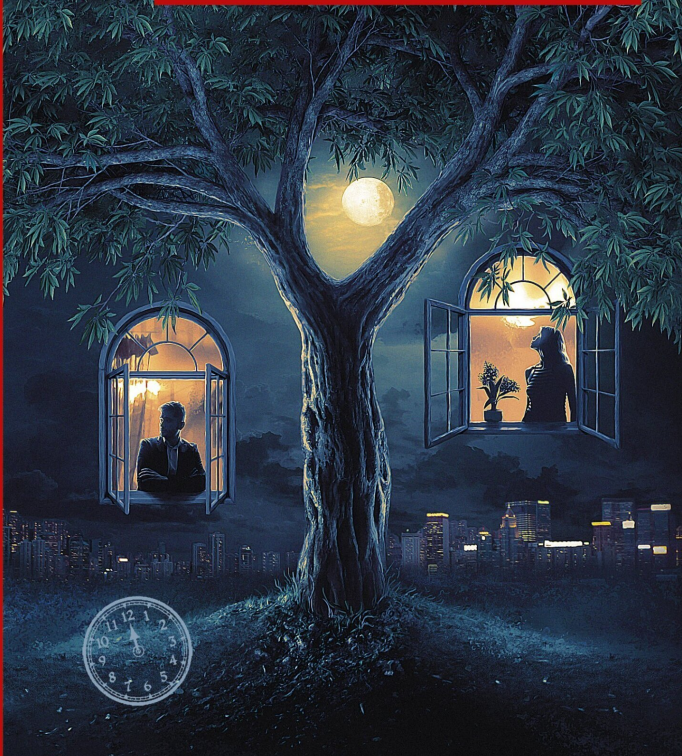


ЮРИЙ

ПОЛЯКОВ

ВРЕМЯ НЕ УСТАЕТ



Юрий Михайлович Поляков
Время не устает
Серия «Любовь в эпоху перемен»
Серия «Собрание сочинений
Юрия Полякова», книга 12

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67385120

*Время не устает:
ISBN 978-5-17-144627-7*

Аннотация

Книга «Время не устает» – последний, двенадцатый том собрания сочинений известного русского писателя Юрия Полякова, успешно работающего в разных жанрах. Он дебютировал как поэт в начале 1970-х, став одним из лидеров поколения поэтов, рожденных в пятидесятые годы. В этот том вошли стихи, сочиненные почти за полвека. Среди них – известные строфы, выходившие в периодике и включавшиеся автором в сборники, а также никогда не публиковавшиеся, хранившиеся в архиве и подготовленные специально для данного издания. Ранняя лирика Полякова принадлежит к лучшим образцам советской поэзии. Не оставят читателей равнодушными острые сатирические стихи на злобу дня, а также новые произведения, написанные зрелым мастером в последние

годы. В книгу также включена известная работа Полякова о фронтовой поэзии «Между двумя морями», посвященная жизни и творчеству Георгия Суворова (1919-1944).

Открывает том искрометное эссе «Как я был поэтом», насыщенное тонкими и остроумными наблюдениями над «высоким ремеслом» стихотворца, а завершают оригинальные статьи о классиках жанра – Пушкине, Есенине, а также о выдающихся советских лириках – Юрии Разумовском, Владимире Соколове, Андрее Дементьеве, Ларисе Васильевой, Евгении Евтушенко...

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Эссе	6
1. Влечение – род недуга	6
2. Байроновский аспирин	15
3. Цветы неизбежности	26
4. Зачем вы пишете стихи?	34
5. Говорящие рога	44
6. Избиение младенца	52
7. Смертельно опасная женщина	60
8. Первая публикация	65
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Юрий Михайлович
Поляков
Время не устаёт

© Поляков Ю.М.

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Эссе

1. Влечение – род недуга

Человека, который хоть недолго был поэтом, я узнаю с первого взгляда. И не важно, кем он стал после своей поэтической кончины – журналистом, прозаиком, политиком, инженером, бизнесменом, генералом, бомжом... Как заметил, кажется, Флобер: на дне души самого жалкого бухгалтера таятся обломки великого поэта. А все дело в том, что поэт – счастливый невольник слова. Он и в быту разговаривает совсем не так, как другие, – не просто обменивается информацией, а наслаждается, упивается рождением внезапного словесного смысла. Он кожей чувствует, что иной крошечный промежуток между словами значит куда больше, нежели сами слова. Для него слово – это живая белка на великом древе, соединяющем землю и небеса. Для большинства же слово – это просто шапка, пошитая из мертвых беличьих шкурок...

Написаны горы сочинений о пророческих способностях поэтов, об их умении предугадывать ход истории. Это действительно так, и профетический дар объясняется, по-моему, именно особенным чувством живого слова. Ведь все события совершаются прежде в языке, в слове, а лишь потом в

реальной жизни. Советская цивилизация зашаталась, когда мы пустили в нашу речь такие словечки, как «совок», «коммуняки», «тоталитаризм»... Не случайно было широко подхвачено придуманное мной словечко «апофегей». Оно отразило то межумочное состояние общества, когда по-прежнему жить не хотят, а как надо жить – никто не знает, кроме либеральных ведунов – извечных двоечников нашей истории.

А в 1992-м, едва появились в языке «прихватизация», «демокрады», «ельциноиды» и прочее, стало ясно: вестернизация России если и не отменяется, то откладывается надолго. Помню, как – прочитав в «Труде» мой неологизм «соросята», мне позвонили из фонда Сороса и предложили в обмен на лояльность вояж по американским университетам. Я, конечно, отказался с гордостью человека, только что закончившего штопку последних штанов. Но какова оперативность! Понимают мировые «закулисники» цену точному слову. Поэт благодаря особому дару улавливает тихую языковую подготовку исторических сломов раньше остальных людей. «И гад морских подводный ход» – сказано Пушкиным именно об этом, а не о миграциях косяков атлантической сельди.

Поэт может молчать в разговоре, но по тому, как загораются его глаза при удачном чьем-то слове, сразу понимаешь – кто он таков. В 1986 году я был с творческой, так сказать, миссией в Сирии и встречался с тамошними литераторами. В мою задачу входило проинформировать писательскую общественность о том, как поставлено литературное дело в то-

гдашнем СССР, а организовано оно было, если вынести за скобки мягкий, но твердый идеологический контроль, отлично. Мой рассказ о писательской жизни Страны Советов арабы слушали с неподвижными лицами, мерно перебирая четки. Некоторое оживление вызвали лишь сведения о тиражах тогдашних толстых литературных журналов. Когда я сообщил, что тираж «Юности» – три с половиной миллиона, они глянули на меня так, точно хотели сказать: «Хоть ты и гость, уважаемый, но врать все равно нехорошо, у нас за это бьют палкой по пяткам...» В заключение переводчик Олег Бавыкин попросил меня прочесть хотя бы одно мое стихотворение. Я пожал плечами, посмотрел на эту невозмутимую бединскую аудиторию и продекламировал:

*Война уже потеряна из вида.
И генералы – не фронтовики,
А все ж у мира, как у инвалида,
Болят ладонь потерянной руки...*

Бавыкин перевел, как умел, – и вдруг эти равнодушные люди пустыни закивали, зацокали языками, заулыбались, запереглядывались, как заправские московские стихотворцы, оценившие удачную метафору коллеги за пивом в ЦДЛ. И я понял, что нахожусь среди поэтов. Мне даже показалось (стихотворцы тщеславны!), будто в гортанном клетоте мелькнуло словечко «гениально». Внутрицеховая оценочная шкала русских поэтов имеет только две отметки – «гениаль-

но» и «г...но». (Подробнее об этом в моем романе «Козленок в молоке».) От встречи осталось еще одно любопытное впечатление: сквозь антропологию иной расы в лицах сирийских писателей угадывались до боли знакомые черты московских коллег. «Смотри – вот там Ибн-Евтушенко!» – шепнул мне переводчик, кивая на худого нервного араба – черный обруч на его игале сдвинулся набекрень. Он и в самом деле был удивительно похож на нашего громкого поэта, умеющего ссориться с властью с неизменной выгодой для себя. «А вон – Ибн-Михалков...» И точно! Только звезды героя на белом соубе не хватало. Вероятно, в любом литературном сообществе в силу внутренних законов всегда есть неизбежные вакансии, которые замещаются людьми со схожими данными, в том числе и внешними. Возможно, в будущем, когда мы познакомимся с марсианским поэтом, прибывшим в составе инопланетной делегации, кто-то всплеснет руками: «Батюшки, ну вылитый Юрий Кузнецов!»

Думая сегодня о той давней поездке, вспоминая цветущие Дамаск и Алеппо, вспоминая Пальмиру, этот античный мираж посреди пустыни, я с тоской смотрю на телевизионные пейзажи современной Сирии: бесконечные серые лабиринты полуразрушенных стен и горы щебня. Можно ли было избежать этого всесирийского погрома? Наверное... Но почему-то на память мне приходит наш гид, араб, учившийся в России, он с насмешкой упорно называл тогдашнего президента Асада, отца нынешнего Башара, «тыквоголо-

вым», вкладывая в эту дразнилку какую-то старую клановую неприязнь. А вот Российская империя зашаталась, когда последнего царя в народе стали звать Николашкой... И опять дело в словах...

Но вернемся к поэзии. В разные эпохи стихи востребованы по-разному. Иногда они выдвигаются на роль самого активного и знаменитого вида искусства. Так было перед Октябрьской революцией и после нее. Слава Маяковского и Есенина общеизвестна. Евтушенко, Окуджава, Вознесенский, Ахмадулина полвека жили на проценты с того успеха, который обрушился на них в 60-е годы, когда послушать стихи люди собирались на стадионах и в ответ на удачную метафору слушатели ревели покруче, чем теперь ревут, возторгаясь искусно забитым голом. Лариса Васильева рассказывала, как почитатели поэзии на руках выносили ее на улицу после вечера в Политехническом. Кстати, благодаря кадрам, вошедшим в удивительный фильм М. Хуциева «Застава Ильича», можно вообразить, будто именно показанные в фильме поэты (Евтушенко, Окуджава, Рождественский, Казакова, Вознесенский, Ахмадулина) и были в ту пору исключительными фаворитами.

Но это вовсе даже не так. Столь же бурно воспринимались стихи и некоторых других поэтов, а самые восторженные аплодисменты вызвали те, что прочитал Сергей Поликарпов, которого долго не отпускали со сцены. Почему Хуциев не включил самое яркое выступление в свой фильм?

Могу предположить: для него – птенца интернационального гнезда – стихи Поликарпова показались слишком русскими, или, как иногда выражались, посконными. Поэта такая несправедливость буквально сломила, исказив отчасти его литературную судьбу, он не стал, как и многие его достойные сверстники, героем текущей истории поэзии. Правда, есть еще итоговая история поэзии. Подождем... Несколько лет назад мы в «Литературной газете» опубликовали те самые стихи, которые Поликарпов прочел тогда в Политехническом. Они действительно хороши и нисколько не устарели в отличие от сочинений, озвученных тогда же со сцены его более удачливыми сверстниками.

Вероятно, в человеческом обществе случаются периоды обостренного восприятия стихотворного слова, как бывают периоды религиозной экзальтации или повышенной воинственности. С чем это связано – с солнечной активностью, со сменой культурного кода, с очередным извивом этногенеза? Бог знает... Но наступают времена, когда поэзия уходит из сферы духовных приоритетов, дробится и сжимается до крошечных кухонных парнашиков. Она переходит, как сказали бы врачи, в латентное состояние, в каковом, кстати, пребывает сейчас. Борясь с равнодушием общества, поэты придумывают «завлекалочки»: иногда талантливые, как у куртуазных маньеристов, иногда убогие, похожие на срежиссированные эпилептические припадки, как у Пригова. Снимается и уровень версификации. Сложение стихов уже не на-

поминает резьбу по благородному дереву, скорее – торопливую лепку из пластилина. А к тому, что не требует мастерства, траты времени и душевных сил, и отношение соответствующее: крошечные залы полузаполнены не фанатами поэзии, а подругами и собутыльниками стихотворцев, которые даже не помнят наизусть своих опусов, а читают их с листа, путаясь и словно стесняясь написанного. Уверяю вас, если поэт по-настоящему оттачивал стихотворение, он запомнит его на всю жизнь, как солдат номер полевой почты. Читать стихи с бумажки – это как объясняться в любви, сверяясь с интернетом.

Однако, по моим наблюдениям, процент людей с поэтическим мироощущением постоянен, как число, скажем, гомосексуалистов или левшей. Своим присутствием, даже незаметным, они играют какую-то не до конца еще понятую роль в жизни человеческого сообщества. А может быть, поэзия – вообще какая-то «высокая болезнь» человеческого духа или языка? Не случайно с самых отдаленных времен поэтов считали собеседниками богов, людьми, которым, как и жрецам, доступна небесная изнанка мира. Они слышат, как «звезда с звездой говорит». Причем болезнь эта эротическая, и давно замечено, что лучшие стихи сложены именно о любви, чаще несчастной или безответной, как у Петрарки к Лауре. Впрочем, изредка встречаются большие поэты, обошедшие в своих стихах любовь стороной. Например, Александр Твардовский.

Не исключено, поэзия – своего рода компьютерный вирус, занесенный в искусственный интеллект киборгов – наших предков – и приведший в конечном счете к возникновению у клонированных из праха тварей того, что мы называем душой. Впрочем, кажется, в юности я перечитал Брэдли и Стругацких...

Сказать, что поэзия – тайна, это примерно то же самое, как если сказать, что любовь – это любовь. Не могу объяснить, почему всякий раз у меня выступают на теле мурашки, когда я повторяю, скажем, такие строчки Владимира Соколова:

*На влажные планки ограды
Упав, золотые шары
Снопом намокают, не рады
Началу осенней поры...*

Кто знает, может, поэзия – это самый совершенный на сегодняшний день способ консервации энергии мысли и чувств, способ, сохраняющий не только результат, но и сам процесс творчества. В этом я убедился, составляя поэтический том моего собрания сочинений и перебирая архив. Иные пожелтевшие черновики я взял в руки без малого через сорок лет. И что? Я отчетливо вспомнил все свои тогдашние мысли, чувства и ассоциации, породившие ту или иную строку, вспомнил давно забытых людей, их лица, голоса. Более того, мне удалось вернуться в прежнее творческое

состояние, ощутив юношеские муки, когда метафора не лезет в размер, а сравнение напоминает бант на заднице провинциальной кокетки. Вот ведь как! Но даже если ты не поэт и читаешь чужие стихи, все равно на подсознательном уровне ты воспринимаешь не только итог, но и проживаешь сладостно-мучительный процесс сочинительства, творившийся в чужой душе. Так, наслаждаясь лирикой Пушкина, ты оказываешься, фигурально говоря, в его постели. Нет, не подумайте плохо! Как известно, гений предпочитал творить лежа на ложе...

2. Байроновский аспирин

В поэзии, как и в алкоголизме, самое главное – вовремя завязать. Поэтов-долгожителей не так уж много. Назову хотя бы Фета, Тютчева, Случевского, моего учителя Соколова. Откройте того же Пушкина и посмотрите по оглавлению, как год от года сужалась его поэтическая река... Именно Пушкин дает нам, братьям своим меньшим, наиболее разумный пример перехода к иным жанрам, когда поэтическая энергия истаивает. Проза, критика, драматургия, журналистика, исторические разыскания... Это нормально. Ненормально, если человек, лишившийся поэтической энергии, продолжает складывать в рифму – благо рука набита. В советские времена, когда поэты неплохо зарабатывали, это было просто бедствием, но бедствием вполне объяснимым. Вообразите, вы долго, лет десять, осваивали технику стихописания. Да-да, стихосложению, как и музыке, нужно учиться, пройти через гаммы, сольфеджио. После того как появился опыт и за рифмой не надо гоняться с мухобойкой, приходит время пробиваться в печать, выгораживать свой садово-ягодный участок на Парнасе, тесном, как московское кладбище. Наконец вы пробились, добились, выгородились, вдохнули озон славы, а фонтанчик поэтического вдохновения взял да иссяк... Как? А как высыхает колодец? Еще вчера в нем даже в полдень отражались звезды, а сегодня только

сухое дно с ржавыми ведрами, потерянными водоносами.

Кстати, самое время сказать несколько слов о вдохновении. Сегодня почти доказано, что за этой сладостной душевной смутой стоят заурядные биохимические процессы в организме, как стоят они за страхом, вожделением, унынием... Даже выделено особое вещество – пептиды. Не исключаю, что скоро наука предложит людям, страдающим иссякновением вдохновения, какие-нибудь стихоносные пилюли, ведь подарила же она охладелым сладострастникам «Виагру». Я даже могу присоветовать несколько названий для таких таблеток: «Стиховит», «Лермонтин», «Пегасил», «Байроновский аспирин»... Возможно, скоро такие препараты можно будет покупать в аптеках, но пока еще поэтам – как это было в течение многих столетий – самим приходится изыскивать способы подстегнуть уходящее вдохновение. Серьезная, доложу вам, проблема! Обратите внимание, у каждого поэта множество стихов о том, как он пишет или пытается писать. На профессиональном языке это называется «стихи о стихах». Особенно много их у начинающих. Весь ранний Пастернак – одна сплошная мука творчества. Кстати, разбирая давние черновики, я убедился, что тоже в юности писал в основном про то, как трудно мне пишется. Прямо какие-то рыдательные песни раба со стихотворной плантации. В одной «пиесе» я сравниваю свои творческие муки с горем ребенка, обладающего простым грифелем и мечтающего о коробке цветных карандашей.

*Сегодня я совсем большой
И быюсь над строчкой каждой.
И вновь с простым карандашом
И разноцветных жажду...*

По качеству еле добытых неточных рифм и плохо сколоченному синтаксису чуткий читатель сразу догадается, что автору в ту пору до мастерства было как неандертальцу до цветных фломастеров. Но дорогу осилит идущий.

Конечно, вдохновению чрезвычайно способствует любовь, особенно несчастная. Кушнер написал: «У счастливой любви не бывает стихов, а несчастная их не считает». Видимо, огромная энергия, выделяемая нам природой на продолжение рода и, увы, не востребованная избранницей, пометавшись по организму, выливается в горькие поэтические строки. Например, вот в такие, ахматовские:

*Будь же проклят! Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом:
Я к тебе никогда не вернусь!*

Или вот в такие, извините, мои:

Пусть будет так —

*уж коли так случилось.
Не обещай! Пожалуйста, иди!
Не полюбился. Ну, не получилось...
Все лучшее, конечно, впереди.
Такой урок запомню я навеки.
В чужие сани, очевидно, влез.
А ты давай – вытаптывай побеги,
Где мог подняться соловьиный лес!*

Помнится, такой мощный протуберанец черного отчаянья, переходящего в женофобию, был связан с тем, что моя девушка не смогла выбраться со мной в кино. На следующий день она смогла, но стихи-то уже вырвались из обиженного сердца.

Особо следует отметить роль алкоголя в поэзии. Сказать, что поэты пьют по иной причине, нежели все остальные граждане, значит слукавить. Любое живое существо имеет к алкоголю имманентное влечение – у моего знакомого был кот-пьяница, скончавшийся от цирроза. Однако в состоянии опьянения ничего путного написать невозможно, хотя в постпортвейной эйфории порой возникает ощущение, что ты наконец-то добрался мыслью до незримых шестеренок бытия и поймал те нетленные идеи, те вечные слова, которые Платон называл, кажется, эйдосами. Иной раз, прежде чем рухнуть в постель, хватает сил нацарапать эти озарения на бумаге. Наутро, морщась от головной боли и разбирая нетрезвые каракули, удивляешься, как могла такая густосо-

вая банальщина показаться тебе вчера гениальным открытием!

*Вечером Богу сопатку утру,
Но поутру...*

Тем не менее поэты заметили и взяли на вооружение одно любопытное последствие алкогольной эйфории. После мощного удара по организму в состоянии похмелья происходит некоторое смещение в сознании, мир воспринимается иначе, острее: он странен, многозначен и обнажен. Душе вдруг становятся вняты какие-то связи и приметы, на которые в трезвой повседневности не обращаешь внимания. Замечено, пик творческой активности у поэтов приходится на период после запоя. О эти послезапойные поэты! Сколько я их перевидал... Рубашка свежайшая, костюм, сильно пострадавший во время моральных и телесных падений, тщательно отутюжен. Острый запах одеколона. Лицо просветленное, а взгляд грустно-всепонимающий. И стихи, стихи, стихи... Жаль только, что запои становятся год от года все длиннее, а вдохновенные просветления все короче.

Сергей Есенин, знавший в этом толк, очень точно написал:

*Иль как рошу в сентябрь
Осыпает мозги алкоголь...*

Подобно многим моим поэтическим сверстникам, я тоже выпивки не избегал. В моих стихах вы без труда отыщете удивленную оторопь, которая накатывает утром, когда ужас от количества опорожненных бутылок сливается с тревожащей новизной ветки, скребущейся о стекло. Кстати, свою первую литературную премию я получил благодаря пьяной драке. Честное слово! Дело было в 1980 году в Кутаиси на фестивале братских литератур. Нахлебавшись незаконного молодого вина, я высказал ехидное замечание о стихах кубанского поэта Юрия Гречко и получил аргументированное возражение в челюсть. Когда мы, рыча, катались по полу под одобрительные крики собратьев по перу, в номер внезапно вошли писательские и комсомольские начальники. «Кто дерется?» – «Поляков и Гречко». – «Из-за чего?» – «Из-за рифмы». – «Ого! Настоящие поэты!» На следующий день жюри обсуждало мой цикл «Непережитое». Кто-то заметил: «Горячий парень! И стихи вроде ничего. Надо поддержать!» Так я стал лауреатом премии имени Маяковского.

Но шутки в сторону. Сколько талантливых людей осыпали мозги гораздо раньше, чем реализовали свои возможности! Среди них и Рубцов, и Шевченко... Впрочем, Бог им судья – сделали они тоже достаточно. Особая статья – поэты, всю жизнь регулировавшие вдохновение алкоголем, а потом резко завязавшие. Они энергичны, четки и неумоимо скучны. Наверное, именно о них когда-то написал поэт-фронтовик Александр Балин, давно умерший:

*Деревянным маслом смазанный,
Он живет насквозь доказанный,
Деловой, как телеграф...*

Впрочем, я, кажется, увлекся алкогольным фактором мировой поэзии. Вернемся к вдохновению. Итак, вас только-только начали хорошо издавать – а к пятидесятилетию даже готовится избранное, обычно эдак в двадцать пять листов. Для непосвященных поясню: поэтический лист – это 700 строк. За строчку при советской власти платили в среднем 1 рубль 50 копеек. Теперь умножьте – и вы получите чуть ли не двадцать пять тысяч рублей. По советским временам – сумма огромная! Деньги, согласитесь, – тоже стимул, если не для вдохновения, то хотя бы для работоспособности. Идешь, бывало, по длинному коридору Переделкин-ского дома творчества, а из-за обитых дерматином дверей доносится клекот пишущих машинок. Сочиняют стихи, как уголь рубят...

Или такой вот случай. Издательство «Советский писатель». День выплаты гонораров за сборник «День поэзии». Длинная праздничная очередь в кассу, ведь так щедро платили разве что за книжки в Политиздате о пламенных революционерах, которые с удовольствием писали будущие диссиденты. Вдруг появляется в долгополой шубе Андрей Вознесенский, растерянный, как схимник, угодивший из кельи на торжище. Он беспомощно озирается, пытаясь понять, ку-

да занесла его нелегкая. «Андрей Андреевич, – весело кричат из очереди. – Вы чего ищете-то?» – «Я? Э-э... тут где-то, кажется, сегодня... выдают...» – бормочет он, явно избегая свинцового слова «деньги». «За “День поэзии”?» – уточняют ожидальцы. «Да... кажется... не помню...» – «Это здесь. Идите сюда! Он здесь уже стоял!» – великодушно лжет кто-то, почти достигший дароносного окошка. Вознесенский смущенно, с интеллигентнейшими извинениями протискивается, снимает енотовую шапку с потной головы и просовывается в амбразуру кассы. «Вы за что получаете, Андрей Андреевич?» – спрашивает бухгалтерша, исполненная значительности, как и все люди при деньгах. «Я?.. Не помню... Кажется, за поэму... или нет...» Лицо поэта обретает выражение трогательной беспомощности ребенка, забывшего стишок ко дню рождения мамы. «Ага, вот нашла! За поэму. Получите и распишитесь. Одна тысяча двести сорок четыре рубля пятьдесят восемь копеек...» Очередь затихает, уважительно оценивая грандиозный гонорар мэтра. Несколько мгновений в тишине слышно только нарастающее сопение классика, и вдруг раздается его обиженный вопль: «Как это так – одна тысяча двести сорок четыре рубля пятьдесят восемь копеек? – Лицо поэта становится сосредоточенным, как у снайпера. – Это что же, выходит, по рубль пятьдесят за строчку? А мне обещали по рубль семьдесят пять, как лауреату Госпремии! Директор на месте?» – «На месте. Следующий!»

Сейчас времена другие – за стихи почти не платят. Но гальванизация собственного поэтического труда имеет сегодня иные мотивации: гранты, премии, лекционные туры за рубеж... Есть масса мест, где можно заработать и подхарчиться, но при условии, что ты сочиняешь стихи – любые. Хоть на уровне дебила, впервые узнавшего, что «стоять-бежать» – это рифма. Очень похоже на пафосные тусовки, куда пускают только в смокингах. Фейсконтролю не важно, купил ты смокинг у Армани или по дешевке взял напрокат изнуренный молю костюмчик. Главное, чтобы бабочка была, где положено. Вот и приходится соответствовать. Кстати, по своей эстетической природе модный ныне концептуализм очень близок к так называемым паровозам советской поэзии.

Объяснюсь: «паровозами» называли стихи, написанные с явно идеологическими целями и, как правило, по социальному заказу. Даже хорошему лирику необходимо было иметь хотя бы несколько «паровозов» – они словно втягивали на страницы периодики весь остальной лирический состав. Впрочем, были и гениальные «паровозы». Есть такое стихотворение «Коммунисты, вперед!». Его сочинил к какому-то партсъезду Александр Межиров. В конце 1980-х он сбил насмерть пешехода и, чтобы избежать наказания, уехал в Америку, где, прожив двадцать лет, умер в доме для престарелых, но похоронили его в Переделкино. Так вот, поэт, в ту пору баловень советской власти, прочел эти стихи делегатам, срубил свой гешефт и вроде бы концы в воду. Я тоже

писал к съезду комсомола стихи. Кто их помнит? Ан нет... «Коммунисты, вперед!» остались. Более того, это одно из самых мощных по энергетике стихотворений в русской поэзии XX века. Читая межировские строки, понимаешь, почему «красная идея» победила фашизм и преобразила «избяную Русь»:

*Есть в военном уставе такие слова,
На которые только в тяжелом бою,
Да и то не всегда
Получает права
Командир, поднимающий роту свою...*

Но такие удачи на «идеологическом направлении» в редкость. Чаще в рифмованный агитпроп уходят те, кто лишился лирической энергии, свежего восприятия мира. Сколько таких рифмующих солдат партии я насмотрелся в молодости. Прочитав утром передовицу в «Правде», они вечером несли в редакцию стихи, где было все, кроме поэзии. Сегодня, лишившись того же самого (а природа творчества от социальной системы не меняется), поэт уходит в интертекстуальное пересмешичество или конструирование смыслов, не имеющих ничего общего с литературой. Когда человек уже не может писать просто про любовь или просто про ненависть, он начинает писать про свою любовь или ненависть к коммунизму, России или, скажем, к Америке. С точки зрения политики он, может быть, очень нужный человек, с точ-

ки зрения поэзии – просто зомби.

3. Цветы неизбежности

Сочинять стихи я начал в школе, классе в восьмом. Уже и не помню, о чем были мои первые строчки. Но это легко вычислить, так как особым разнообразием тематики начинающие поэты не отличаются. Как правило, с большим или меньшим успехом, стартуют в трех направлениях, пытаясь выразить самые сильные свои чувства. Прежде всего – это любовь и все состояния души, ей сопутствующие: восхищение, надежда, тоска, отчаянье, ревность, вожделение... Кто хоть раз пытался высказать трепет сердца в поэтических строчках, тот знает, как это испепеляюще трудно. Такое ощущение, словно пытаешься сработать античную камею с помощью зубила. Хочется сказать про любимого человека нечто особенное, небывалое – и юный, удрученный заурядностью повседневных слов поэт начинает выражаться метафорически. А это непросто.

С коварством метафоры я столкнулся рано. Классе в пятом мне очень нравилась девочка по имени Шура Казаковцева. В особый трепет меня приводили ее глаза – большие, карие. И вот как-то на уроке пения я решил поведать о своих чувствах. Набрался храбрости и шепнул ей на ушко: «Знаешь... А у тебя глаза как шарики с Казанки...» Ответом мне был взор, полный негодования. Объяснюсь: мы, мальчишки, таскали с товарной станции Казанской железной дороги,

проходившей недалеко от нашей школы, стеклянные шарики диаметром сантиметра три. Шарики были двух цветов – зеленого и медово-янтарного. Очень красивые! Каково было назначение этих шариков, до сих пор не знаю, скорее всего что-то оборонное. Но наряду с марками, этикетками и прочей мальчишеской важной чепухой они являлись стихийной валютой моего детства. Наверное, именно тогда, окаченный ледяным взглядом Шуры, я понял: для глубокого поэтического сравнения одного внешнего сходства маловато. Кому же понравится, если твои глаза уподобляют каким-то там стекляшкам с Казанки?..

Другая обычная тема для начинающего поэта – восторг перед красотами природы. Знакомая ситуация: бывалый до циничности гражданин, оказавшись, например, на берегу дымящегося утреннего озера или взглянув на звездное небо, чувствует вдруг некое поэтическое шевеление в душе и сокрушается: «Эх, ну почему я не сочиняю стихи?» Но если обычный человек просто чувствует шевеление, то начинающий поэт хочет выразить это шевеление словами. Я тоже пытался. Одна из моих первых попыток выглядела следующим образом:

*Словно обломок империала,
Сломанного на пари,
В небе луна застряла
И горит...*

А согласитесь: не так уж плохо – сравнить ущербную луну с половинкой золотой монеты, сломанной кем-то неведомым и могучим... Но остановиться на достигнутом никак нельзя, и меня повело дальше:

Горит, бросая потоки нежности

В пустоту...

Скоро, скоро цветы неизбежности

Зацветут...

«Какие цветы, какой неизбежности?» – спросите вы. А черт их разберет... Наверное, начитался символистов. Вообще поначалу поэт как бы плутает среди чужих образов, интонаций, ритмов. Иногда так всю жизнь и плутает, а после смерти получает обидное прозвище «эпигон», хотя именно эпигоны живут легче и веселее настоящих поэтов. Они, как шkodливые шакалята, поедают остатки не ими заваленного буйвола. Но это метафора... В жизни эпигоны, напротив, чрезвычайно значительны, солидны, любят заседать в президиумах, они увешаны премиями до пят, обласканы критикой, которая, кстати, всегда путает эпигонство с классичностью, а новаторство с шутовством.

В литературе остаются, конечно, только настоящие писатели. А вот в истории литературы эпигонов пруд пруди. Зайдите в Камергерский переулок и посмотрите сначала на тщедушного бронзового Чехова, а потом на монументального Николая Асеева, суровым орлом смотрящего с большой ме-

мемориальной доски. Теперь вообразите, что Москву, как Помпею, чем-то, не дай бог, засыпало. Через тысячу лет потомки раскопали Камергерский переулок и наткнулись на эти два мемориальных осколка великой некогда литературы, чьи тексты давно утрачены. Кого потомки сразу же вообразят главным русским писателем? Ну конечно же, Асеева. Чеховское изваяние они скорее всего примут за надгробие какого-то литературного неудачника...

Есть еще одна тема, волнующая поэтов: смерть. При советской власти она не приветствовалась. Атеисты вообще стараются реже думать о небытии, хотя это и не всегда получается. И я, будучи по воспитанию советским юношей, пытался в стихах примирить оптимизм позитивиста с тоской биологического существа, обреченного на распад и исчезновение:

*Поговорив о том, другом и третьем
С приятелем моих примерно лет,
Мы стали разговаривать о смерти.
Зловеще-занимательный предмет!
Шла речь о том, что траурного крепа
Не утаить за контуром вещей,
О том, что это, в сущности, нелепо,
Пожив, уйти из мира вообще.
О том, что мы воскреснем в наших детях,
В делах, томах и шелесте берез,
Еще о том, что утешений этих*

*Никто пока не принимал всерьез.
Шла речь о том, что, видимо, не скоро
Нетленность с плотью будут сочетать
И что, увы, о смерти разговоры
За малодушие принято считать.
Постыдного не вижу в этой теме.
Страх смерти – это
самый смелый страх.
Поговорим о смерти, чтобы в темень
Сойти с улыбкой мудрой на устах!*

1981, 2014

Несмотря на сдержанный оптимизм концовки, эти стихи так и остались в черновиках, хотя я несколько раз вставлял их в мои книги, но редакторы упорно изымали, объясняя с грустной улыбкой: «непроходняк». «Неформат» – в переводе на сегодняшний язык. Тем не менее попадались при старом режиме поэты, с головой погруженные в эту мрачную тему. Однажды, в конце 1970-х, я и Леонид Латынин, сотрудник журнала «Юность», были откомандированы в московскую школу на встречу с учащимися, кажется, третьеклассниками. Увидев за партами мелюзгу (октябрят вперемежку с пионерами), я стал читать им свои школьные стихи и рассказывать, как носил за девочкой Шурой портфель, а друзья надо мной посмеивались... Но вот настала очередь Латынина, он мрачно посмотрел на почти младенческие мордашки и сказал: «Ребята, вы, конечно, еще дети, но умирать с возрас-

том придется и вам. Поэтому я, так сказать, на вырост, прочту вам цикл стихов о смерти!» И стал декламировать, подвывая, как кладбищенский пес. Пионеры, тем более октябрюта, ничего не поняли, а две учительницы, нас сопровождавшие, лишь переглядывались в беспомощном недоумении и по завершении урока даже не угостили традиционным чаем с конфетами. Но Леонид был счастлив: видимо, в иных аудиториях читать стихи о смерти ему совсем не позволяли, и он, как говорится, оторвался. Сегодня, наткаясь в интернете на комментарии Юлии Латыниной о нашей кошмарной жизни, от которой надо бы проклясть Россию и повеситься, я почему-то вспоминаю ее батюшку и его цикл о смерти, обращенный к советской детворе.

И наконец, четвертый источник вдохновения – патриотизм. Да-да, я не оговорился. Даже теперь, когда любовь к Отечеству служит объектом насмешек и издевательств телевизионных хохмачей, это исконное чувство живет, притаюсь, в душах большинства людей. Нелюбовь к своему Отечеству – вид нравственного заболевания, причем страсть к сочинительству – одно из осложнений, сопутствующих этому серьезному недугу. Классическая история такой болезни – творчество Дмитрия Быкова. Литераторы его склада и направления испытывают к стране обитания примерно те же чувства, что пассажир, который ошибся поездом и в ужасе узнал, что ехать теперь придется до конечной станции, да еще с неприятными попутчиками, а ему – в обратную сто-

рону...

Тем не менее патриотизм – чувство древнее, уходящее корнями в детство человечества. Вот архантропа рано утром разбудила назойливая летучая мышь. Он открыл глаза, потянулся, оглядел родную пещеру, похрапывающих во сне соплеменников, мосластые останки вчерашнего ужина и – сердце его наполнилось необъяснимой теплотой, а бессловесные пока еще мысли сложились в восторженные образы, которые на наш современный язык можно было бы перевести так:

Широка, тепла моя пещера!

Много в ней друзей, костей и шкур...

Шутка...

В 1980-х на радио я вел поэтический клуб «Березка», ко мне приходили тысячи писем от начинающих поэтов со всех уголков необъятной нашей страны. В этих письмах были стихи на самые разные темы, но больше всего – о любви к Родине. Многие, увы, напоминали рифмованные передовицы газеты «Правда», и в ту пору меня это страшно раздражало. Но теперь, поумнев и пережив разгром страны, я думаю, что государственная пропаганда, навязывающая гражданам любовь к своей стране, это – при всех издержках – все-таки гораздо естественнее, нежели агитпроп, воспитывающий в людях неприязнь к собственной Державе. Дорогие молодые

поэты, пишите стихи о любви к Родине! Не бойтесь «либеральной жандармерии». Не стесняйтесь своего чувства! Это нормально и даже необходимо. И пусть вас не смущает раздражение тех, кто едет в чуждом поезде. Они вам не попутчики...

4. Зачем вы пишете стихи?

Путь советского юноши, заболевшего стихами, был пред-
решен. И путь этот лежал через литературные объединения,
которых в ту пору было несметное множество. Без преуве-
личения вся страна была покрыта густой сетью этих самых
объединений. Они организовывались при заводских много-
тиражках, горкомах комсомола, писательских организациях,
домах культуры. Их двери были гостеприимно распахнуты и
для поседелого графомана, и для желторотого гения. Я и сам
вел как-то литературный кружок при маргариновом заводе,
где молоденькие фасовщицы смущенно показывали мне та-
кие вирши:

*Ты меня целовал и в кусты поволок,
А в кино пригласить почему-то не мог!*

Однако обычно в литобъединение начинающий поэт по-
падал не сразу. Сначала он должен был убедиться в том, что
литературный мир жесток и несправедлив. Как только у юно-
го сочинителя скапливалось несколько, по его мнению, заме-
чательных стихотворений, он всеми правдами и неправдами
находил доступ к пишущей машинке. Да, доступ! Это сейчас
на каждом шагу компьютеры да принтеры, а вот в 1970 году
я ехал через всю Москву к моей тете Вале, служившей сек-

ретарем-машинисткой в Главторффе. Она, отрываясь на бесконечные звонки и вызовы начальства, печатала мои первые стихи на казенной пишущей машинке. Помню, друг моей литературной молодости Игорь Селезнев, претендовавший на роль лидера поколения, а потом исчезнувший, познакомил меня с юным поэтом Олегом Хлебниковым, который впервые приехал из Ижевска в Москву. Он был в отчаянье: привезенные отпечатанные экземпляры стихов мгновенно окончились, а множество столичных редакций остались еще не охваченными.

Я выслушал жалобы провинциала и повел его к тете Вале с той особенной гордостью, с какой сегодня ведут поиздержавшегося друга к родственнику-банкиру. Она, конечно, стихи перепечатала, а Хлебников вскоре стал первым в нашем поколении поэтом, издавшим книгу. В 19 лет! По советским понятиям: сверхранний дебют. Его открыл, выделил и всячески продвигал тогдашний секретарь СП СССР по работе с молодыми блокадник Олег Шестинский, талантливый смолоду поэт и баловень советской власти. Недавно я наткнулся на интервью Хлебникова. Он дал его в связи с 60-летием и очень подробно рассказал о своем дебюте. Но про Шестинского ни словечка. Как не было. Очевидно, сотруднику ультралиберальной «Новой газеты» неловко признать, что путевку в поэзию ему дал «литературный генерал» эпохи застоя. Увы, в нашем мире забывчивость и неблагодарность обычное дело.

Но я недолго пользовался услугами тети Вали. У меня появилась своя множительная техника. Первой моей машинкой стал списанный с баланса маргаринового завода, где работала моя мама, реликтовый «Рейнметалл». Его огромная каретка возвращалась по окончании строки на место с таким грохотом и мощностью, что вполне могла бы использоваться в качестве стенобитного агрегата.

Итак, вы молодой поэт, впервые держащий в руках собственные стихи, отпечатанные на машинке. Покуда строчки, черканные-перечерканные в творческих муках, таятся в тетрадке, это остается вашим личным, интимным делом. Теперь же, когда четверостишия выстроились на бумаге, как парадные полки на Красной площади, вы вдруг осознаете, что просто не имеете никакого права и дальше скрывать от общества плоды ваших первых вдохновений! Вы чувствуете себя почти профессионалом, вкладываете стихи в конверты и отправляете сразу в несколько адресов – в «Литературную газету», «Юность» или «Новый мир»... Письма, конечно, должны быть заказными, и, заплатив деньги, вы еще несколько минут стоите у окошечка, наблюдая, не забудет ли почтовая девушка положить ваш конверт в нужную кучку. А то ведь не дойдет заказное до адресата – и та же редакция «Нового мира» не будет через неделю потрясена открытием нового ярчайшего таланта.

В том, что редакция будет потрясена, вы ни минуты не сомневаетесь. И не потому, что глупы или необразованы.

Я встречал докторов наук и высокоумных людей, пишущих в рифму несусветную чушь. Например, своей беспомощностью меня удивили стихи академика-филолога В. Иванова, да и С. Аверинцев, прямо скажем, дальше каботажного плавания в море поэзии не углублялся. И дело не в уме или образованности. Поэт в принципе, а в период становления особенно, не может оценить написанный им текст, он оценивает лишь тот упоительный замысел, то «приближение звука», которое подвигло к сочинительству. И, перечитывая готовые строчки, автор видит не плачевный результат, а свое прекрасное намерение.

Чтобы стало понятнее, приведу пример. Вечер у друзей. В углу сидит скромная милая девушка с печальным взором. Вы приглашаете ее на танец. Она встает, кладет вам руку на плечо, и вы кружитесь, кружитесь, кружитесь в фантастически красивом танце, ваши тела вздрагивают от случайных соприкосновений, а аромат, исходящий от ее волос, пьянит вас сильнее вина... Вы еще долго потом вспоминаете тот вечер! Затем ваш друг приносит кассету – он, оказывается, тайком записал все это на видеокамеру. Вы вставляете кассету в магнитофон и – о ужас! Развязный лысеющий гражданин с животиком неуклюже подваливает к юной деве, потом долго топчется, наступая бедняжке на ноги, а она, страдальца, все время норовит отвернуть свой тонкий носик в сторону. Ну конечно, перед ангажементом на танец вы для храбрости маханули рюмаху, закусив ее селедочкой с луком...

– И это – я?! – в ужасе восклицаете вы.

Да, это – вы!

Полагаю, растолковывать нехитрую аллегорию нет необходимости. Добавлю: никакой поэт никогда не может оценить свои стихи совершенно объективно. Я с этим часто сталкивался в редакторской или составительской практике. «Старик, делаем антологию, неси пять лучших стихотворений! Лучших. Понял?» – «Понял». И он действительно понял, будет сидеть полночи, мучиться и отбирать, отбирать и мучиться... В результате принесет пять худших или вообще никаких стихотворений. И в этом смысле прав Пастернак, обмолвившийся:

Но поражение от победы

Ты сам не должен отличать...

В противном случае вместо головокружительных пиков поэтических побед мы бы имели утомительное плато.

Но вернемся к отправленным письмам. Через неделю вы начинаете нервно заглядывать в почтовый ящик. Странно! По вашему твердому убеждению, потрясенный «Новый мир» должен откликнуться немедленно. Но где же ответ? Его нет. Нет через месяц. Нет и через полгода. Вы жалуетесь кому-то из опытных знакомых, и тот радостно объясняет, что ждете вы совершенно напрасно, ибо в журналах работают исключительно злодеи и завистники (это отчасти вер-

но) и они никогда ваши стихи не напечатают. Из зависти к таланту. Такое объяснение немного успокаивает, но как-то ночью вы просыпаетесь от страшного подозрения, а наутро бежите в библиотеку читать «Юность» и «Новый мир». Так и есть! Какой-то опубликованный поэт имярек пишет, что «у лета крылья махаона», а у вас было:

Вокруг ошалевшее лето

На крыльях стрекозых парит...

Обокрали! Как тут не вспомнить изумительное стихотворение в прозе Тургенева про поэта Юлия, укравшего строчки Юния и тем прославившегося! Но вот через год, уже потеряв всякую надежду, вы лениво лезете в ящик за утренней газетой и обнаруживаете большой конверт с логотипом «Нового мира». А в нем все ваши стихи, исчерканные красным карандашом, и короткая рецензия, смысл которой обычно один и тот же: хорошо, что вы сочиняете стихи, а не пьете горькую, но вам еще много нужно над собой работать. «... Вот, например, у вас написано:

И, нюхая букет еще вначале,

Ты думала, Инесса, о конце...

О каком именно конце думала Инесса? И не кажется ли автору, что следует осторожнее пользоваться великим и могучим?...» – «Мерзавец! – возмущаетесь вы. – Неужели он не

понимает, что речь идет о трагической предопределенности любви!»

Все он, мерзавец, доложу я вам, понимает, но с концом вы и в самом деле погорячились. Далее в рецензии непременно сообщают, что «возьми» и «позови» не рифма, а «любовь» и «вновь» – рифма, но за нее в приличном литературном обществе могут набить морду. Мало того, у вас непременно отыщут строчки с так называемыми неприличными «зияниями». Например:

*Когда ж опали наши розы,
Вас укачал полночный поезд...*

В заключение рецензии неперенный совет: «А идите-ка вы, юноша, в ближайшее литературное объединение!» И подпись, допустим, литературный консультант, например, Шиловреев.

– Как Шиловреев! – восклицаете вы. – Да я же читал его стихи. Он же графоман! Он сам не умеет писать... Мафия...

Обычно на первой, зубодробительной, рецензии ломается добрая половина начинающих, отсеивается, уходит в иную, бесстиховую жизнь. Но другая половина, превозмогая обиду, не отказывается от мечты и выясняет адрес ближайшего литературного объединения.

Я оказался во второй половине.

Все это я пишу со знанием дела, ибо в свое время полу-

чал очень похожие рецензии. Особенно запомнился мне своей зубодробительностью ответ, кажется, из «Студенческого меридиана», подписанный Владимиром Шленским – автором замечательной песни «Ах, необыкновенное танго послевоенное!». Впоследствии мы подружились и поддерживали отношения до самой его внезапной смерти в середине 80-х. Он был благороден, занимая деньги, никогда не брал больше трех рублей (стоимость бутылки водки с плавленым сырком), объясняя: «Все равно не отдам!» Однажды, выпив в ЦДЛ, я мстительно напомнил о его уничижительной рецензии. Он пожал плечами, мол, не помню, знаешь, сколько у меня вас было! Это называлось работать «на заруб». Заведующий отделом поэзии вываливал внештатному рецензенту кипу подборок и говорил коротко: «На заруб». За каждый «заруб» рецензент получал, кажется, десятку и ходил, что называется, по локоть в крови начинающих поэтов. Но с другой стороны, на десятку в те времена можно было гулять в ЦДЛ до глубокой ночи.

Как правило, рецензенты даже не вчитывались в тексты, выискивали орлиным взором несколько ляпов, благо их хватало, и рубили сплеча. Впрочем, бывали исключения. Например, поэт Илья Фаликов в довольно сдержанной рецензии на мою рукопись стихов где-то в середине 70-х обмолвился, что, по его мнению, Поляков скоро перейдет на прозу. Вчитался...

Сегодня со всей прямоотой могу сказать: рецензенты за-

рубили мои первые стихи справедливо – это было беспомощное ученичество, хотя какие-то строчки отмечались как удачные. Например, у меня имелся длинный-предлинный рифмованный диалог поэта с самим собой о том, зачем он, дескать, пишет стихи. Начинался диалог так:

*– Зачем вы пишете стихи?
Вы что же думаете, строки
Умеют исцелять пороки
И даже исправлять грехи?
Зачем вы пишете стихи?..*

Вообще любимое занятие начинающего поэта, как сказано выше, поразмышлять о тайнах творчества, в которых он ни черта еще не смыслит. «Стихи о стихах» – бич юных поэтов, за что их корят рецензенты и наставники. Мой диалог поэта с самим собой тоже был подвергнут решительной критике, некоторое снисхождение заслужили лишь первая и последняя строфы:

*– Ну хоть один от ваших виршей
Стал добродетельней и выше?
Скажите прямо, не тая!
– Один? Конечно! Это – я.*

Их-то я и оставил. Пожалуй, это единственное из моих юношеских стихотворений, которое я включил в первый и

последующие сборники. Но вернемся к судьбе молодого поэта, ошарашенного первыми рецензиями на его вирши.

5. Говорящие рога

Переболев обидой, я внял совету и отправился в литературную студию при Московской писательской организации и горкоме ВЛКСМ. Кстати, устроиться туда было не просто, но я еще в школе был комсомольским активистом и завел кое-какие связи в верхах. А поэтам, как инвалидам, начальники помогают охотно. Меня взяли. Располагалась студия почему-то в Доме политпросвещения на улице Володарского, ныне Гончарной. Семинары там вели крупнейшие тогдашние поэты, прозаики, драматурги, критики, переводчики: Евгений Винокуров, Борис Слуцкий, Алексей Арбузов, Юрий Трифонов, Александр Рекемчук... Даже студенты Литинститута бегали к нам «обсуждаться», считая, что у нас уровень повыше.

Я попал в семинар Вадима Витальевича Сикорского – поэта, может быть, и не крупного, но чрезвычайно профессионального и образованного. Он был из литературной семьи, дружил с сыном Марины Цветаевой Муром, пропавшим на войне. Ему же судьба назначила вынимать в Елабуге из петли великую Марину. Сикорский был высок, плечист и с орлиным интересом поглядывал на юных поэтесс. Будучи опытным бильярдистом, мэтр часто с гордостью говорил нам: «Я первый кий Союза писателей!». – Причем слово «кий» произносил с неким не совсем бильярдным оттенком. Женат он

был неоднократно и всю жизнь втайне писал эротико-анти-советский роман «Дикомерон».

В нашем семинаре собралось десятка два начинающих поэтов и поэтесс, не считая нескольких обязательных в таком месте рифмующих шизофреников. Кто-то так потом и сгинул без всякого литературного результата, но многие стали настоящими профессионалами. Иных уже нет в живых. Признанный лидер нашего семинара Ефим Зубков, автор песни про пароход детства, повесился в 1976 году в собственном туалете. Его строчку про женские ноги, прорастающие в весенней толпе, отметил Вознесенский. Замечательный и явно недооцененный поэт Евгений Блажеевский, любимец Сикорского, умер от водки в конце 1990-х. Многие помнят его стихотворение «По дороге в Загорск», ставшее романсом:

*И слова из ромansa «Мне некуда больше спешить»
Так и хочется крикнуть в петлистое ухо шофера.*

Один за другим ушли уже в новом веке – Александр Щуплов, Валерий Капралов, Юрий Чехонадский, Владимир Нежданов, ставший священником, но до конца земной жизни не забывший поэзию. Отец Владимир много лет был постоянным автором «Литературной газеты». Традиционно к Светлой Пасхе он публиковал у нас стихи, стал лауреатом нашей премии «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига. И вот отец Владимир ушел в горный мир, в

который искренне верил сам и учил этой вере других. Предчувствием грядущего спасения исполнены многие его стихи. Вот одно из них:

*Просто так мы себя не спасем.
Значит, будем работать по силе.
Крест, который по жизни несем,
Станет позже в ногах на могиле.
Крепко веруем: он вознесет
Из земли наше бренное тело.
Крест из праха до неба растет,
Достигая иного предела...*

Но еще активно трудятся на различных литературных нивах Александр Буравский, Наталья Сидорина, Игорь Селезнев, Владимир Вишневский... Это все наш семинар! Поколение... Кстати, я учился в ту пору на литфаке Областного пединститута имени Крупской. На одного парня приходилась дюжина девушек, будущих учительниц. Ностальгически вспоминая те времена, я лишь изумляюсь, что за все годы обучения так и не завел на курсе ни одного романа. Давно замечено: коренные обитатели прибрежных курортов редко купаются...

Из шестерых моих однокурсников трое стали известными литераторами. Ну, про меня вдумчивый читатель и сам, очевидно, догадался. Назову также Александра Трапезникова, хорошего прозаика, сочинявшего в ту пору странный сюрре-

алистический роман про говорящие рога. А еще нельзя не упомянуть Тимура Запоева, который известен ныне любителям поэзии как поэт-концептуалист Тимур Кибиров. Помню, он всюду ходил с томиком Блока из Библиотеки всемирной литературы и сочинял что-то грустно-символическое, но в общении с товарищами был чрезвычайно ехиден. Когда, много лет спустя, я узнал, что он сменил свою изумительную, Богом данную фамилию на рахат-лукумный псевдоним, то был поражен. Ведь тот же Николай Глазков, из которого, по сути, и вышел весь наш отечественный «концептуализм», отдал бы половину своей печени за фамилию «Запоев». Всю печень, конечно, не отдал бы, так как был человеком серьезно пьющим.

Кстати, поэт-сатирик Владимир Вишневский учился на нашем же факультете, но курсом старше и сочинял вполне лирические стихи под Рождественского, например, про мальчика, подающего во время футбольного матча мячи. На самом деле он, разумеется, имел в виду себя, начинающего поэта, который еще всем покажет. И показал!

Есть такое выражение в театре «Актер Актерыч». Так называют человека, который всем видом старается подчеркнуть свою причастность к сцене, говорит утробным голосом, а ходит наподобие тени отца Гамлета. Вишневский вел себя как заправский Поэт Поэтыч. В разгар студенческой пирушки он мог вдруг погрузнеть, уйти в угол, достать хорошенький блокнотик, сувенирную авторучку и, ощупывая

взыскующим взором пустоту перед собой, заняться сочинением стихов. «Володя, рюмку пропустишь!» – звал кто-то неосторожный. Но на него сразу шикали: «Тсс! Человек стихи пишет. Не видишь, что ли?» Я всегда царапал набежавшие строки на клочках бумаги, терял, горевал об утратах и завидовал, глядя на Володин блокнотик. После института мы довольно долго поддерживали отношения. Но, как и большинство юмористов, обсмеивающих все, что шевелится и даже умерло, Вишневский не переносил остроты в свой адрес. Как-то, представляя его на большом вечере в ЦДЛ, я сказал: «Чехов утверждал, что краткость – сестра таланта. Выступает брат таланта – Владимир Вишневский!» Я-то имел в виду его стихи в одну строчку вроде «Давно я не лежал в Колонном зале». Но он понял по-своему, обиделся – и наши пути разошлись.

Но если в Вишневском тогда невозможно было угадать будущего смехача корпоративов, то я в ту пору как раз отдавал предпочтение пародиям и стихотворному юмору:

*Теперь дома особенные строят:
Я слышу, как внизу бифитекс горит,
Как наверху кого-то чем-то кроют
И как «звезда с звездой говорит»...*

– «С звездой...» – плохо. Не выговоришь: «сзв», – настаивательно заметил Петр Вегин, прочитав эти строчки в «Московском комсомольце».

– Так у Лермонтова... – робко возразил я.

– У классиков надо брать только хорошее!

Роясь в своем архиве, я отыскал полдюжины пародий, показавшихся мне достойными, чтобы опубликовать их спустя сорок лет в первом томе собрания сочинений. Кажется, они стали даже смешнее, чем в момент написания. Так бывает... Кстати, подражание, переходящее в пародирование, – обычный путь стихотворного ученичества, ибо, смеясь, с прошлым расстается не только общество. Смеясь, пародируя, ерничая, молодой поэт расстается со школярством, с зависимостью от литературных авторитетов, осваивает чужую стилистику, учится замечать дурновкусие у других, а потом и у себя. Некрасов писал: «И скучно, и грустно, и некого в карты надуть...» Дурачился. Но ведь он написал еще и «Русских женщин», и «Кому на Руси жить хорошо»... Если бы мне кто-нибудь тогда, в студенческие годы, предсказал, что игра со знаменитыми цитатами лет через двадцать станет основным содержанием поэзии и будет называться «постмодернистской интертекстуальностью», я бы просто рассмеялся. Молодая литературная компания всегда живет пересмешиничеством, розыгрышами, дурачествами, буриме, эпиграммами, но делать из этого профессию, объявлять эстетической школой – нелепость. Точно так же утренние пробежки для растряски живота можно объявить большим спортом. Допустим, объявили. И что?

В начале минувшего столетия поэзия была полноправной

соучастницей грандиозного цивилизационного слома, русской революции, изменившей мир. В лучшую или в худшую сторону – другой вопрос. Достаточно вспомнить Блока, Маяковского, Есенина... В конце XX века не менее грандиозный катаклизм поэзия (не вся, конечно, но в основном) проихихкала и пробалагурила. Неисповедимы пути Слова! Можно, конечно, упрекать поэтов, хотя, возможно, эпидемия иронизма – на самом деле не что иное, как реакция на ненужность этого катаклизма. Или же наоборот: иронизм – это страшная гниль, которая стремительно сжирает несущие конструкции общественного устройства. Не знаю... Я сам начинал свой литературный путь, будучи настроен весьма ернически, да и по сей день сохранил насмешливый взгляд на мир. Однако люди, бурно потешавшиеся в конце века над происходящим в стране, лично мне не симпатичны. В августе 1991-го я встретил на Гоголевском бульваре друга литературной молодости Леонида Бежина. Он был в кепке с помпоном, яркой праздничной куртке и клетчатых штанах.

– Ты чего такой хмурый? – весело спросил приятель.

– Страна гибнет... – ответил я.

– Брось! Ты писатель, смотри на все со стороны. Вокруг столько интересного, странного, смешного. Будет о чем писать...

– А страны-то не будет.

– Значит, так Богу угодно...

Больше с этим улыбчивым богомолем я всерьез не общал-

ся.

6. Избиение младенца

Однако вернемся в Дом политпросвещения на улице Володарского. Главный смысл семинара состоял в том, чтобы научить нас даже не писать, а понимать стихи. Чужие стихи понять и оценить гораздо проще, чем свои. Владимир Николаевич Соколов как-то раз очень точно заметил: «Свой стиль у поэта появляется не тогда, когда он понимает, как должен писать, а тогда, когда он понимает, как писать не должен». Оказавшись в кругу себе подобных, осознаешь: несмотря на свою талантливую исключительность, ты совершаешь те же самые ошибки, что и остальные сочиняющие граждане. А заметив двусмысленные «концы» в строчках товарища, начинаешь иначе воспринимать собственные сочинения.

Занятия семинара проходили так. Назначался «виновник торжества». Допустим, выбор падал на тебя. Заранее размножив свои стихи сам или с помощью дружественной машинистки, ты раздавал подборки товарищам по семинару, а первый экземпляр вручал, разумеется, руководителю. И трепетно ждал своей очереди... Ты уже знал, чем заканчиваются такие обсуждения, но верил: с тобой все будет иначе! Семинар просто содрогнется от открытия небывалого таланта, на руках тебя качать, наверное, не будут, но все-таки...

И вот наступает мой день «Ч». С утра меня трясет и лихорадит, или, как говорит нынешняя молодежь, плющит и

колбасит. Домашние встревожены: «Юра, что случилось?» Я отшучиваюсь. Ну как, в самом деле, признаться, что ты ждешь и отчаянно трусишь предстоящего семинарского обсуждения, предназначенного стать твоим звездным часом?! В последний раз, запершись в туалете, я, профессионально завывая, репетирую чтение лучших моих стихов. Таких, например:

*Мелким дождиком неистребимым
Обернувшись, как целлофаном,
Одинокие грозди рябины
Исступленно зацеловал он...*

Ну, разве это не гениально? А рифма? Какая рифма – Маяковский отдыхает... Все будет хорошо.

– Кто у нас сегодня? – спрашивает Сикорский, окидывая зал взором усталого патологоанатома.

И вот я на трибуне. Да, забыл сказать: мы занимались в конференц-зале, где имелась роскошная могучая трибуна, очевидно, для политических просветителей с их нудными докладами. В креслах – коллеги по литературному цеху. Одни смотрят ободряюще, мол, держись, старик! Это соратники и друзья. Другие поглядывают с чувством явного эстетического превосходства. Это литературные недоброжелатели и соперники. Все как в большой словесности! А откуда-то из самого уголочка шлет взоры, полные нежности и восхищения, некая милая девушка. Это – моя девушка. Она знает

все мои стихи наизусть, восхищается ими еще больше, чем я сам, и пришла сюда, чтобы разделить мой триумф.

– Ну-с, начнем! – объявляет Сикорский.

Я ощущаю во всем теле праздничную невесомость и начинаю. Мэтр внимательно слушает, что-то помечая на полях рукописи, а иногда после какой-нибудь особо удачной, на мой взгляд, метафоры отрывается от текста и смотрит на меня с картинным удивлением, словно я трамвайный «заяц», предъявивший ему, контролеру, вместо билета бланк анализа мочи. (О, этот взгляд я запомнил навсегда!) По количеству таких «изумлений», если понаблюдать из зала, можно предугадать результаты обсуждения, а точнее – показательной порки.

Странное чувство испытываешь, выходя читать стихи залу. Еще минуту назад ты был абсолютно уверен в своей гениальности, но, увидев устремленные на тебя глаза слушателей, вдруг осознаешь, что ты, идиот, совершенно напрасно вознамерился морочить людей своей рифмованной белибердой. Освищут, зашикают – и поделом. Нет, еще хуже:отреагируют мертвым, ледяным молчанием. Впервые я читал стихи публике на каком-то студенческом празднике в переполненном актовом зале МОПИ имени Крупской. Это были пародии. Я сочинил «Мартовский триптих», пытаюсь представить, как могли бы написать про весенних котов Асадов, Евтушенко и Вознесенский – в те годы популярные до невменяемости. За несколько минут до выхода я решил еще раз

проверить себя и шепотом прочитал пародии какому-то сложившемуся за кулисами старшекурснику.

– Чепуха! – констатировал он, выслушав. – Не позорься!

Тут меня объявили, я побрел на сцену, как на казнь, и зачем-то начал декламировать... Зал смеялся и долго мне аплодировал.

– Здорово! – похвалил потом тот же старшекурсник, поймав меня, окрыленного, за кулисами.

Счастье публичного признания можно, наверное, сравнить только с восторгом обладания прекрасной женщиной, еще недавно недоступной, а вот теперь нежно и покорно трепещущей в твоих объятьях...

Но вернемся в Дом политпросвещения. Я заканчиваю чтение стихов и на ватных ногах возвращаюсь в зал, друзья ободряющежимают мне руки, литературные недруги иронически усмеваются, а взор девушки обещает мне все, о чем только может мечтать молодой поэт.

– Ну-с, – предлагает Сикорский, – прошу высказываться. Кто у нас первый оппонент?

– Я! – с тихой улыбкой расчленителя-извращенца встает и идет к трибуне один из моих лютых литературных недругов.

И начинается Великое Избиение Поэтического Младенца. Никто лучше собратьев по перу не видит твоих огрехов и никто не умеет так глумиться. Все у меня не так: и ритм, и рифма, и настроение, а моими сравнениями и метафорами не стихи инструментовать, а забивать сваи в вечную мерзлоту.

ту.

– Ну что это такое: «Мелким дождиком неистребимым обернувшись, как целлофаном, одинокие грозди рябины иступленно зацеловал он»?! Почему целлофаном, а не полиэтиленом? – вопрошает оппонент.

Зал хихикает. Я скрежещу зубами, ибо гордился рифмой «целлофаном – зацеловал он». Это удар ниже пояса. Общеизвестно, что ради рифмы в стихи не то что целлофан – тринитротолуол притащишь... Вот сволочь!

– Почему у тебя дождик «неистребимый», а грозди «одинокие»? Это неточно. Эпитеты случайные.

– Не случайные! – вскакиваю я.

– Случайные!

– Почему?

– Потому. Ходасевича надо читать! – бьет он наотмашь.

Полузапрещенного в то время Ходасевича я, конечно, не читал, в чем, наивный осел, как-то признался товарищам в курилке. Ему, гаду, хорошо: у него папа в АПН служит и наверняка таскает в дом весь «тамиздат». А мне, отпрыску рабочего семейства, где взять?

– «Иступленно зацеловал он» сказано не по-русски, – продолжает избиение так называемый оппонент. – Можно иступленно целовать. Иступленно зацеловать нельзя.

– Можно! – снова вскакиваю я.

– Нельзя.

– Можно!!

– Нельзя...

Все смотрят на Сикорского.

– Нежелательно, – вздохнув, отвечает он.

– Но все эти «огрехи» – ерунда... – замахивается для смертельного завершающего удара оппонент. – Тебе просто не о чем писать. Какие-то пейзажики и прочая мура. В стихах нет судьбы. У тебя в жизни не было настоящей трагедии. Вот если бы твоя любимая женщина попала под трамвай...

В глазах моей девушки, жмущейся в углу, ужас. Под трамвай ей явно не хочется, даже ради моей поэтической судьбы.

– А у тебя была трагедия? – окончательно вскакиваю я.

– Была, – отвечает мой гонитель с той горделивой поспешностью, которая не оставляет сомнений в том, что и у него никакой трагедии пока в жизни не было. Разве что отец из загранкомандировки джинсы не привез.

«Ничего, – подбадриваю себя я. – Сейчас за меня заступятся...»

Но друзья, на поддержку которых я рассчитываю, вяло возражают врагу и от растерянности хвалят какие-то мои совершенно не обязательные строчки, нажимая на то, что молодой талант, даже если он и не совсем еще талант, заслуживает бережного отношения. Тем более что обсуждаемый поэт, то есть я, – отличный товарищ, хороший человек и даже комсомольский активист. В глазах моей девушки появляется то выражение, какое обычно бывает при виде собачонки, раздавленной уличным транспортом. Сикорский все больше

хмурится. И я с ужасом понимаю: моя жизнь, во всяком случае литературная, не удалась. Личная жизнь, кстати, тоже под угрозой...

Наконец товарищи по перу сказали все, что про меня думают, довершив черное дело, начатое «расчленителем». Теперь все смотрят на Вадима Сикорского. Надо заметить, он был в своих разборах объективен, хотя и строг до чрезвычайности. Не ругал он только явных графоманов – щадя этих чаще всего нездоровых людей, приносивших на обсуждения бесконечные стихотворные поздравления друзьям к праздникам и дням рождения.

*В день рожденья, тетя Валя,
Я Вас нежно поздравляю...*

- М-да, – вздыхает Сикорский, обегая глазами симпатичных девушек в зале. – А почему вы не прочитали «Февраль»?
- Какой февраль?
- Ну вот, у вас в подборке:

*Снег цвета довоенных фото
Лежит, подошвами примят.
Ворчанье шин. На поворотах
Трамваи старчески скрипят...*

- Оно мне не удалось! – гордо объявляю я.
- Да, стихи неровные... «Ворчанье шин» – плохо. Вор-

чать на вас будет жена (короткий взгляд на мою девушку). «Старчески скрипят» – тоже плохо – «штамп». У вас вообще какой-то штамповочный цех! «Лежит, подошвами примят» – неуклюже... Хотя имеет право на существование. А вот «снег цвета довоенных фото» – хорошо. Даже очень хорошо! Работайте над собой! Кого обсуждаем в следующую пятницу?

– Меня... – жалобно сообщает мой главный погромщик.

– Что ж, посмотрим... – усмехается Сикорский.

И в моей душе расцветает чертополох возмездия...

7. Смертельно опасная женщина

Мэтр прожил долго и скончался в 2012 году. Я написал некролог для «Литературной газеты». Вот он с некоторыми сокращениями:

«Умер Вадим Витальевич Сикорский. На 91-м году жизни. Один из могикан некогда многочисленного и могучего племени советских поэтов, точнее поэтов советской эпохи. Он дебютировал с книгой “Лирика” в 1958 году, уже зрелым человеком, а по меркам нынешних скороспелых дебютов – и вовсе “стариком”. Его стихи были лаконичны, афористичны, сдержанны, почти лишены примет неизбежной тогда политической лояльности, что выгодно отличало их от многословия эстрадной поэзии, изнывавшей от этой самой лояльности.

В предисловии к “Избранному” в 1983 году он писал: “Главным в поэте я всегда считал уникальную способность оказаться наедине с миром, со Вселенной, со звездами, с самим собой. Умение взлететь ввысь сквозь любые учрежденческие потолки, сквозь стены и этажи увеселительных заведений, сквозь тяжелые железобетонные стены любых подвалов”. Сикорский был всегда сосредоточен на странностях любви, на вечных и проклятых вопросах:

Ничто не вечно – ни звезды свечение,

*ни пенье птиц, ни блеск луча в ручье, —
ничто не вечно. Смерть не исключение:
Не может вечным быть небытие.*

После 91-го, когда в поэзии воцарился концептуальный цирк, Сикорский ушел в тень, его публикации стали редкостью, он сел за большой роман, главу из которого “ЛГ” напечатала несколько лет назад. До последнего времени он оставался бодр, в его крепком стариковстве явно угадывался некогда полный страстей, красивый, сильный мужчина, овладевший не одной женской привязанностью, чувствовавший себя без любви “как скульптор без глины”. Сам он с присущей ему самоиронией как-то назвал себя в стихах “атлетическим повесой”. И мне хочется вопреки строгому жанру эпитафии процитировать мое самое любимое стихотворение ушедшего поэта “Встреча”, по-моему, замечательное:

*Опасность была не уменьшена
Ни светом, ни тем, что – народ...
Почти нереальная женищина
Навстречу спокойно идет.*

*Из облака солнцем точенная?
На лбу – неземного печать?
Нет, мысль, на слова обреченная,
Об этом должна промолчать.*

Решишь объяснить лишь косвенно:

*Всю мудрость налаженных дней,
Как нечто никчемное, косное,
Забыв, я пошел бы за ней.*

*Устроенность жизни, направленность
Всех помыслов, все, чем я жив,
Я сжег, если б ей не понравилось,
К ногам ее пепел сложив.*

*Такая мне Богом обещана.
Потупясь – себя отстраня,
Смертельно опасная женичина,
Прошла, не коснувшись меня.*

Прощайте, Вадим Витальевич! В судьбе человека, посвятившего себя стихам, много горечи, но есть и одна привилегия: его ждет не только вечная жизнь за гробом, но и неизвестная судьба в параллельных мирах высказанного поэтического слова».

Но тогда, в 1974-м, он еще почти молод, бодр и заинтересованным взором провожает мою девушку, неотразимую в юной взволнованности. После обсуждения мы, как водится, пьем в скверике обязательный портвейн. Друзья, отводя глаза, объясняют, мол, все дело в том, что я плохо читал свои стихи, что у Сикорского какие-то неприятности в «Новом мире», что наши литературные враги просто сволочи и пишут еще хуже, чем я...

– Ой, извини!

Проводив подругу домой, я еду к себе на станцию «Лоси-ноостровская» в полночной электричке. Спасительный наркоз портвейна выветривается, и леденящая оторопь непонимания диагноза убивает сердце. Диагноз состоит из двух слов: «Я бездарен...»

Кто не писал стихов, никогда не поймет это состояние. Ты вдруг осознаешь, что вожаемый, прекрасный мир, где гениальные метафоры прыгают, как райские птицы, с одной стихотворной ветки на другую, для тебя закрыт навеки. Никогда, никогда, никогда ты не войдешь в этот поэтический эдем, не хлопнешь по плечу задумавшегося над строкой великого собрата и не спросишь: «Ну что, брат Пушкин?..»

После того, первого обсуждения я два дня пролежал на кровати, отвернувшись к стенке, не подходил к телефону и отказывался от пищи. Мои родители, не имевшие к литературе никакого отношения, шепотом жалели о том, что их сын, вместо того чтобы выбрать надежную рабочую специальность, связался с этими чертовыми стихами. Впрочем, девушка по имени Наташа, несмотря на случившийся на ее глазах унижительный разгром, во мне не разочаровалась и вскоре стала моей женой, каковой и остается по сей день. Явление, надо сказать, довольно редкое в нашем многобразном литературном мире.

Обычно после подобных зубодробительных обсуждений отсеивалась примерно половина начинающих поэтов. Но у

тех, кто выдержал, пережил, поднялся, — в душе совершался прорыв на некий иной уровень. Много позже я понял, что скачкообразное развитие литературного дара у пишущего человека случается именно в дни отчаянья и презрения к себе, а не в дни озарений и всеобщего признания. Трудно объяснить, почему так происходит, одно могу сказать уверенно: графоманы никогда не мучаются сомнениями и в отчаянье не жгут написанное. Они с усталым удовольствием потирают поясницу, встав от поэмы, написанной в том ясном душевном состоянии, которое напоминает отлаженное пищеварение.

Я пережил. Перемучился. И пошел. Дальше в литературу. Много потом в моей творческой биографии было разгромных рецензий, неискренних похвал, организованных бойкотов, напраслины, но после Великого Избиения Поэтического Младенца все это пустяки и мелочь. Вскоре Сикорского попросили дать в газету «Московский комсомолец» стихи семинаристов. Он рекомендовал гордость нашего семинара Игоря Селезнева, а также Валерия Капралова и меня. Для моей публикации он выбрал стихотворение «Февраль». Это случилось в марте 1974 года.

8. Первая публикация

О первая публикация! Она незабываема, как первая женщина. Тогда Москва была усеяна газетными стендами, чего теперь нет и в помине. Возле стендов всегда стояли люди. Странно, ведь газета стоила всего две копейки. Вроде бы купи – и не мучайся. Но нет: стояли и читали. Я шел по Москве, высматривая стенды «Московского комсомольца», и пристраивался рядом с каким-нибудь углубившимся в газету гражданином. Мне чудилось: он в этот миг упивается именно моими стихами.

Но граждане читали в основном про спорт...

Если ты пережил Великое Избиение Поэтического Младенца и не получил пожизненное отвращение к сочинительству, у тебя появлялся шанс стать настоящим стихотворцем. Я сознательно не употребляю слово «поэт», ибо это уже совершенно иная шкала измерений. Стихотворец – профессия, поэт – миссия. Впрочем, в быту эти слова частенько путают. Я, например, застал времена, когда, заполняя анкету, в графе «профессия», нисколько не смущаясь, писали: «поэт». А в графе «место работы» – «Союз писателей». Стихами в ту пору можно было заработать на жизнь, особенно если ты занимался переводами с языков народов СССР. Точнее, не с языков, а с подстрочников. Это была настоящая индустрия, кормившая толпы стихачей. Жизнь одного из таких перевод-

чиков описана в моем рассказе «Пророк». Но я только соприкоснулся с этим родом деятельности. Что-то мне подсказывало: переводы – вид литературного донорства, пусть даже хорошо оплачиваемого. И беда в том, что в нужный момент тебе может не хватить «творческого гемоглобина» для собственных сочинений. Однажды я мучился над подстрочником молодого казанского поэта Амира Махмудова, никак не мог подобрать рифму и, чтобы выкрутиться, приписал ему метафору, которой у него не было в помине – про «девушку, что плавит лед пучком льняных волос». Вскоре пришло восторженное письмо автора, звавшего меня и впредь не ограничиваться поверхностным прочтением подстрочника, а черпать образы из глубин первоисточника! Я уклонился...

Но многие не уклонялись – и случались казусы. Однажды известного среднеазиатского поэта, автора десятка книг, переведенных на русский язык, выдвинули на Госпремию. Выдвинули скорее не за творчество, а за высокий пост. На Востоке издревле визирь, не сочинивший ни одной газели, вроде бы и не визирь. К нам эта мода тоже прикочевала. Вспомним пойманного на взятке министра экономики Улюкаева, который регулярно печатал в журнале «Знамя» и даже читал на заседаниях правительства свои вирши. Назвать их стихами невозможно – настолько они беспомощны. В одном из них министр РФ советовал своему сыну валить из этой страны. Не слабо! Мы, кстати, в «ЛГ» по поводу «творчества» высокопоставленного чиновника неліцеприятно высказыва-

лись задолго до того, как на него надели наручники. Так что обвинять меня в злопыхательстве не стоит. А что касается среднеазиатского «визиря», вдруг выяснилось: стихов на родном языке у него нет и никогда не было – одни подстрочники, которые писал его помощник, а уж из подстрочников за хорошее вознаграждение столичные мастера изготавливали «настоящее искусство». Вышел скандал. Но с другой стороны, в том, что крупному чиновнику хотелось прослыть именно поэтом, а не, допустим, экономистом, тоже был особый знак времени...

Но я снова отвлекся. Итак, следующий этап становления молодого поэта – вращение в редакционно-издательскую жизнь. Отчасти начинающий стихотворец уже сталкивался с этим странным миром, когда отправлял в редакцию первые свои стихи. Но это, так сказать, разведка боем, в котором он и получил первые литературные раны. Теперь же твердыню нужно было взять штурмом.

Когда впервые приходишь со стихами в издательство или журнал, на тебя смотрят как на придурка, среди ночи разбудившего весь дом да еще нагло попросившего напиток и переночевать. От тебя хотят отбояриться. Кому, спрашивается, нужна лишняя головная боль в виде твоей пухлой рукописи? Свое первое посещение издательства я запомнил очень хорошо. Это походило на спортивный поединок.

– Может быть, вам, молодой человек, лучше сначала показать стихи в каком-нибудь литобъединении? – дежурно по-

советовал мне сотрудник редакции и снова углубился в рукопись, по-моему, свою собственную. На нем был кожаный пиджак, что свидетельствовало о его успехах на творческом поприще.

– Я занимаюсь в объединении при горкоме, – уверенно ответил я.

– Это хорошо, – отозвался он с той интонацией, с какой обычно говорят «очень жаль».

1:0 в мою пользу. Я протянул папку со стихами.

– А знаете, ведь мы берем стихи только у тех, кто уже печатался! – Он явно не торопился принять мою рукопись.

– Я печатался. В «Московском комсомольце».

– Ах, вот оно что... – На его лице мелькнула ревнивая тень: в «МК» пробиться было не так-то легко.

2:0 в мою пользу. Папка у него на столе, и он неохотно развязывает тесемки.

– Ну, давайте посмотрим... А это еще что такое? У вас «слепые» экземпляры, а мы принимаем первые, в крайнем случае – вторые.

– А у меня только первое стихотворение «слепое», остальные нормальные. «Слепое» я могу забрать. Но оно про комсомол...

– Про комсомол, серьезно? Ладно, оставьте...

3:0 в мою пользу. Матч выигран!

Рукопись принята и зарегистрирована. Теперь он от меня так просто не отвяжется. Будут, конечно, разгромные внут-

ренние рецензии, требования доработок. Я стану вновь и вновь приходить к нему, приносить варианты, выслушивать критику, сначала чудовищную, позже – товарищескую. Однажды, к какому-нибудь празднику, я прихвачу с собой бутылочку коньяка, он достанет закуску, мы выпьем. Он разоткровенничается и поведаст про то, что выпустил недавно третью книжку стихов, а подлая критика его в упор не видит. Ему уже за сорок, а на творческих вечерах его продолжают объявлять «молодым поэтом». Он-то думал, покупка кожаного пиджака с огромной переплатой что-то изменит в его жизни. Оказалось, нет...

– У меня скоро внуки будут, а я все еще «молодой»... – горько вздохнет он. – Пушкина-то в тридцать семь уже того... ну, понял...

– А Лермонтова вообще в двадцать семь... – вздохну я, вспомнив о недавно отпразднованном своем 23-летию.

Года через два мы станем друзьями, и однажды совершенно буднично, мимоходом он скажет:

– Беги, Юра, в магазин! Сегодня тебя вставили в «темплан»...

А если твоя фамилия появилась даже в самом отдаленном тематическом плане издательства – значит, ты не зря ходишь по этой земле, бормоча себе под нос стихотворную невнятицу. По моим наблюдениям, есть два основных типа заведующих отделом поэзии – суровый и ласковый. Суровым был, например, заведующий отделом поэзии издательства «Мо-

лодая гвардия» Вадим Кузнецов. В ту пору шевелюристый, буйно-бородатый, он смотрел на входящего в кабинет робкого сочинителя, сурово надломив бровь. И твоя душа, жалобно позванивая не востребованными рифмами, уходила в пятки, где и пребывала во время знакомства, не сулившего ничего хорошего. Но, как ни странно, с суровым можно было в конце концов договориться.

А вот если заведующий отделом поэзии источает ласку, медово улыбается и, не дай бог, называет вас «миленьким» или «лапочкой» – можно не сомневаться: ваши стихи он не напечатает никогда... Таким был Натан Злотников в «Юности». Прорваться сквозь его мертвую защиту можно было только с помощью главного редактора Андрея Дементьева. Он влетал в журнал, словно добрый ураган, и ставил все на свои места.

В те годы существовала система, которую образно называли «перекрестным опылением». Поэты, работавшие, скажем, в журнале, печатали поэтов, служивших, допустим, в издательствах. И наоборот. Такая вот круговая взаимопомощь. Вступить в этот круг было непросто. Конечно, лучше всего – устроиться на хорошую литературно-издательскую работу. Но как? Нужно иметь связи, лучше – родственные. Правда, возможны и другие способы проникновения в «мафию». Один лысенький молодой поэт, например, завел подругу в меховом ателье и буквально закидывал влиятельных писателей прекрасными ондатровыми шапками. В дол-

гу они не оставались: стихи этого шапкозакидателя регулярно появлялись в печати. Я был поражен, обнаружив их даже в сборнике «Шедевры русской поэзии последней четверти XX века». Как же долго люди могут хранить признательность за качественный головной убор! Кстати, исчезновения в нашем Отечестве дефицита меховых изделий этот поэт не пережил, исчезнув из литературы навсегда. Другой, бывший футболист, имел домик на крымском побережье, предоставлял его сильным поэтического мира и тоже проник таким образом на страницы периодики. Третий, начинающий драматург, для одного знаменитого ленинописца организовывал у себя на квартире вечеринки с девушками. Тем и жил...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.